

1978, 25 авг.

ТОЛСТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 150

ЧЕТЫРЕ дня идет на создание «Записок маркера». Не много. Радость после написания огромная. 16 сентября 1853 года в дневнике записано: «Молодец! Я работал славно. Кончил». Отчего радость? Отчего так ценит Л. Н. Толстой свою повесть? Отчего пишет о ней Некрасову: «Я дорожу ею более, чем «Детством» и «Набегом»?

Пятидесятые годы, самое начало творческого пути. Толстой пишет роман из жизни русского помещика — не доводит роман до конца: остается «Утро помещика», остается первая встреча с Нехлюдовым. После Нехлюдову будет предложено более чем полвека на мечты, на разочарования, на поиски добра. И надолго затянется повествование о Нехлюдове, надолго затянется его хождение по жизни. Горький писал: «60 лет ходил по [России] князь Нехлюдов», заглядывая всюду: в деревню и сельскую школу... в тюрьмы, этапы, в кабинеты министров, в канцелярии губернаторов, в избы, на постояльные дворы и в гостиные аристократических дам.

60 лет звучал суровый и правдивый голос, обличавший всех и все: он рассказал нам о русской жизни почти столько же, как вся остальная наша литература». Столько же, как бесконечный путь человека внутри своей души.

Но этот путь еще впереди. Пока же — «Утро помещика» и «Записки маркера». Здесь Нехлюдову словно позволяется прорепетировать свой будущий уход, уход в «Воскресении». Так же и Толстой не однажды пытается уйти из Ясной Поляны и только в девяносто десятом году уходит навсегда. Судьбы во многом схожи. Во многом, но не во всем. И все-таки Нехлюдову, может быть, больше, чем кому бы то ни было, доверены мысли самого Толстого.

При первом своем появлении в 1852 году в «Утре помещика» Нехлюдов уже спешит поведать всему миру: «Может быть, точно я еще ребенок, но это не мешает мне чувствовать мое призвание желать делать добро и любить его». Угадываются мысли Толстого, и какими-то, пусть не всеми, чертами своего характера он наделяет Нехлюдова. И в дневнике несколько раньше пишет: «Недостаточно отвращать людей от зла, нужно еще их поощрять к добру» (1847 год). Духовные поиски Толстого, его путь к осознанию добра отчасти переданы и Нехлюдову.

Герой Толстого занят самосовершенствованием, анализом своих чувств и мыслей: «...неужели вздор были все мои мечты о цели и обязанностях моей жизни? Отчего мне тяжело, грустно, как будто я недоволен собой...» («Утро помещика»). И тут же на помощь сомневающегося Нехлюдову приходит Толстой — словно все встает на свои места и тайна бытия на время предстает как истина. И опять Нехлюдов: «Вдруг, без всякой причины, на глаза его навернулись слезы, и,

бог знает каким путем, ему пришла ясная мысль, наполнившая всю его душу, за которую он ухватился с наслаждением, — мысль, что любовь и добро есть истина и счастье, и одна истина и одно возможное счастье в мире». Как будто смысл существования разгадан. В жизни же истина о добре и любви еще не приносит счастья. Непохожест себя на окружающих пока причиняет одну боль, и только уединение доставляет радость и дарит покой. Год спустя после «Утра помещика» и в то самое время, когда пишутся «Записки маркера», в дневнике Толстой признается: «Всегда жить одному: дорогое правило, которое я постараюсь соблюдать... Вздор! Ни одного человека еще я не встречал, который бы морально был так хорош, как я...». Так же готовится жить и молодой Нехлюдов. Все его страдания будто из-за того, что не замечают его

форма не совсем тщательно отделана». Верно. Стиль всей повести и язык маркера явно не близки Толстому. Важно другое: впервые и только однажды не сам Толстой как полноправный судья говорит о Нехлюдове. И не сам Нехлюдов размышляет и выносит приговор своим поступкам и помыслам. Маркеру, полагающему, что поиски цели существования, мысли о смысле жизни — от праздности, от нечего делать, — именно ему передано право повествования. Ему позволено заговорить вслух и — больше того — предать гласности посмертные записки князя Нехлюдова. И маркер заговорил: вопреки, словно сам с собой, словно боясь, что кто-то вдруг не захочет слушать. Все, что хотелось сказать, все, о чем думалось. Поэтому вряд ли язык рассказчика и мелодраматичность ситуации должны смущать. Пусть. Эдак даже лучше. Для того, похоже, и маркер понадобился. «Глядя: а он на полу лежит, ве-е-е в крови, и пистоль

за нечуткости и недогадливости окружающих: бремя мысли для себя одного не дает отдохновения. В свете же замечается одна нелепость, сплошная несуразность. Жизнь Нехлюдова предстает как недоразумение, как шутовской водевиль: в «Записках маркера» он видится смешным недотепой: «ходит боком как-то, карманом за лузы цепляется, станет кий мелить, — мел уронит. Где бы и сделал шара, так все оглядывается, да краснеет». Точно недотепа. Еще надо, чтоб он, как чеховский Епихов, под конец кий сломал.

И еще, и это главное: только в «Записках маркера» Нехлюдов уходит из жизни физически. Чтоб уступить место Нехлюдову — из «Воскресения». Будто смертью смерть поправ. Только в начале судьбы ему позволен этот легкий счет с гордостью: после ухода Нехлюдова будет сложнее и тоньше, глубже и незаметнее. Пока: зависимость от суждений света максимальная, боязнь насмешки дей-

ежал...» (няня в «Утре помещика»), и тут же, в подтверждение: «Что, сударь, к тетеньке не изволишь ездить? Они скажут, что вас давно не видели» (камердинер в «Записках маркера»). Через полвека Нехлюдов будет наконец в имении тетюшек (в «Воскресении»), и там, где столько лет всем виделось спасение и чудился покой, допишется последняя глава в его жизни: встреча с Катюшей Масловой, суд над собой. И воскресе-ние.

И будто нарочно Толстой заставляет Нехлюдова постоянно играть; мучиться от этого и все-таки играть: так без передышки играют и в «Пиковой даме». Пушкинская интонация в «Записках маркера» явно присутствует. И, похоже, причина смерти Нехлюдова — невезение игрока, рок, невозможность уйти от судьбы: то, что сводит с ума Германа. Да и события развиваются почти в сходных мизансценах. О Германе: «— А каков Герман!.. отроду не брал он карты в руки, отроду не загнул ни одного паролы, а до пяти часов сидит с нами и смотрит на нашу игру!» О Нехлюдове: «Посмотрел я на барина, — вижу, сидит тихо, ни с кем не знаком...». Будто думает — не решается: начать или нет? А что потом? Чем кончится? И словно вся будущая трагедия оттого, что играть все-таки решается. Это с точки зрения маркера. Грядущая драма не предугадана. Ее некому угадать. «Смотрю, он белый, вот как полотно...» И даже бледность Нехлюдова — верный признак скорой смерти: предтеча агонии героев Достоевского, их «бледности как полотна» — даже это не настораживает.

Как у Пушкина: «Однажды играли в карты у конно-гвардейца Нарумова». Так и здесь, едва замечено: «Так часу в третьем было дело. Играли господа...». Точно, пушкинская легкость — будто смерти никогда не случится, а будет бесконечная бесшабашность и кутерьма. Вечная игра: и после смерти она пойдет своим чередом, как ни в чем не бывало, «И выигрывали, и отписывали мелом», и без конца.

Истинная причина ухода Нехлюдова до времени скрыта. У Толстого же есть еще сомнения, не назвать ли повесть «Самобийца». А подле Нехлюдова брошена на полу пистоль. Не страшно. Это — только начало. Зато после у Толстого не найдется ни одной мелодраматической детали. Здесь можно еще ошибиться в форме. Но мыслью Толстой дорожит уже теперь. Судьба Нехлюдова конца века написана тоньше, глубже разработана, но истоки ее, должно быть, здесь, в середине столетия.

Здесь смерть Нехлюдова словно предложена на пробу: подойдет — не подойдет. Ее реальность размыта, она — обратимая. Точно понадобилась останков, чтоб привести мысли в строй и ясность. Точно этому Нехлюдову уже время умереть, чтоб дать дорогу другому, из «Воскресения». А здесь пока: «Я хотел насладиться и затоптал в грязь все, что было во мне хорошего... я убил свои чувства, свой ум, свою молодость». Еще жаль себя. Но постепенно любовь к себе разрастается, охватит целый мир и вместит в себе всю природу. И тогда: «Да не может быть, чтобы это было так просто», — говорил себе Нехлюдов, а между тем... видел, ...что это было несомненное и не только теоретическое, но и самое практическое разрешение вопроса.

1899 год — «Воскресение». Воскресение души произошло, и ради этого свершилось столько уходов и возвращений, возвращений на круги своя — как открытой миру личности. «Жизнь есть увеличение своей души, и благо не в том, какая душа, а в том, насколько человек увеличил, расширил, усовершенствовал ее» (дневник, 1904 год). Мысли позднего Толстого. То, к чему вместе с Толстым придет Нехлюдов. И вечная, неизменная истина войдет в душу.

Нина
ДЗЮБИНСКАЯ

ЖИЗНЬ И УХОД

НЕХЛЮДОВА

(О «Записках
маркера»)

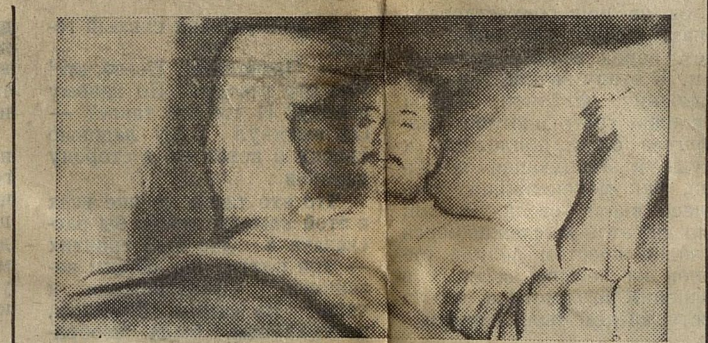
исключительности: еще хочется удивлять, наслаждаться вызываемым восторгом... О таком Нехлюдове написано «Утро помещика», через два года ему же посвящаются «Записки маркера», и ему дарят дружбу в «Юности». А после, в конце века, прозрение Нехлюдова в «Воскресении».

Итак, «Записки маркера». «Позвольте узнать, как ваша фамилия? — Нехлюдов...» Он замечен окружающими, замечен, но не разгадан, не понят. Во внимание принята лишь внешняя непохожесть, но его ни с кем не спутать. Поведение Нехлюдова не объяснено с точки зрения обыденности. И с такой точки зрения объяснить его нельзя. «Считаю себя, смотрю: новый барин какой-то в дверь вошел, посмотрел, да и сел на диванчик. Хорошо». То, что в душе Нехлюдова, то, что — тайна, не поддается обсуждению: и недоумение маркера понятно.

В свое время Некрасова смущал язык маркера, то, что в нем не было ничего характерного и необычного. На это в дневнике в октябре 1853 года Толстой пишет: «Я начинаю жалеть, что слишком поспешно послал «Записки маркера». По содержанию едва ли я много бы нашел изменить или прибавить в них. Но



Ф. П. ГЛЕБОВ. Из иллюстраций к «Утру помещика».



Л. О. ПАСТЕРНАК. Из иллюстраций к «Воскресению».

подле брошена. Так я до того испугался, что слова сказать не мог». Непонимание окружающих и принято здесь за видимую причину смерти. «Кто, мол, это такой будет? из каких то есть?» В мечтах Нехлюдова прозы жизни — ни на грош! В реальности же — самая что ни на есть проза. Отсюда — внешняя беспомощность мучит, приносит страдания. И это понятно. Понятно еще и потому, что в дневнике самого Толстого записано: «Да, я нескромен; оттого-то я горд в самом себе, а стыдлив и робок в свете» (1854 год). Стыдливость и робость появляются из-

стает всюю; все недоверие обращено пока к миру — в нем видится зло. И это, по Толстому, дурно. В его дневнике по этому поводу: «Чем моложе человек, тем меньше он верит в добро» (1853 год). Нехлюдову 90-х годов откажется в недоверии к другим. Причину недовольства собой надо будет искать в себе самом. А пока зло видится извне; невезение кажется на роду написанным, и на борьбу с ним не хватает сил. Поэтому — такой уход.

Но мысли Толстого об уходе уточняются, приходят к простому и ясному: от думы к думе броскость события перестает удовлетворять, внутреннее содержание выходит на первый план и сосредоточивает на себе все внимание. Такого ухода из жизни, какой был в «Записках маркера», больше не будет. После будет «Смерть Ивана Ильича» и свет в конце жизни; после — «Отец Сергей» и пять уходов, чтоб необратимо вернуть себя для людей; после — «Живой труп» и исчезновение Протасова. И — «Воскресение».

В этом диалектика: от суда внешнего до осуждения внутреннего. Здесь эволюция характера: от Нехлюдова, умиляющегося и плачущего над миром, до Нехлюдова кающегося, плачущего над собой и радующегося миру.

Пока же судьба еще впереди. Пока Нехлюдову только советуют — советуют со всех сторон, будто предчувствуя события, будто подсказывая один другому: «Хоть бы к тетеньке по-